

Анатолій
МАЛЯР



ЗАПИСКИ ОДЕССИТА

оккупация
и после

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ



18+

Евгений Маляр

**Записки одессита.
Оккупация и после...**

«ЛитРес: Самиздат»

2007

Маляр Е. А.

Записки одессита. Оккупация и после... / Е. А. Маляр —
«ЛитРес: Самиздат», 2007

Книга повествует о жизни обычных людей в оккупированной румынскими и немецкими войсками Одессе и первых годах после освобождения города. Предельно правдиво рассказано о быте и способах выживания населения в то время. Произведение по форме художественное, представляет собой множество сюжетно связанных новелл, написанных очевидцем событий. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся Одессой и историей Второй Мировой войны. Содержит нецензурную брань.

© Маляр Е. А., 2007

© ЛитРес: Самиздат, 2007

Использована оригинальная обложка издания «Печатный дом», Одесса, 2007

Предисловие соавтора

Об Одессе написано очень много книг. Некоторые из них очень точно передают неповторимую южную атмосферу города, повествуют о событиях давно минувших эпох и вызывают желание посетить разные места, связанные с литературными персонажами.

Немало произведений посвящено и войне, но внимание авторов в большей степени фокусировалось на одесских отважных защитниках и подпольщиках, безусловно заслуживших этого. О простых обывателях, живших в городе во время румынско-немецкой оккупации, написано крайне мало, а то, что есть, к сожалению, порой чрезмерно политизировано.

Как они выживали? Как добывали хлеб насущный? Что случилось после того, как захватчики были изгнаны из Одессы?

Этому как раз и посвящена предлагаемая вниманию книга.

Теперь о том, почему я, сын автора, считаю ее также и своей. Это просто: мы с отцом работали над текстом вместе. Когда он решил изложить свои записки для меня, я понял, что материал бесценен. Листы, исписанные убористым отцовым почерком, содержали нечто, о чем теперь уже никто не сможет рассказать. Большинство людей, помнивших те времена, ушли туда, откуда голоса не слышны. К тому же не всем и хотелось вспоминать о войне и не менее тяжелых следующих десятилетиях. И не все имеют к этому способности.

Период оккупации по неясной причине завораживал меня с детства. У нас было обыкновение по вечерам прогуливаться по городу. Обычный маршрут пролегал по Александровскому (тогда – проспекту Мира) до Дерибасовской, где мы обычно пили минеральную воду в магазине «Куяльник». Затем мы не спеша прогуливались мимо Оперного, прохаживались по бульвару, и назад, домой, по Екатерининской (Карла Маркса).

Нам всегда было, о чем поговорить. Иногда отец вспоминал своего папу и показывал мне места, тоже исхоженные ими десятилетиями ранее. Рассказывал он как-то бесстрастно, но я чувствовал, что все это, буквально каждый булыжник мостовой на Пушкинской или Жуковского, бесконечно ему дорого. Возможно, отчасти поэтому я тоже очень полюбил наш город, настоящий, а не тот, который показывали в кинокомедиях про веселую жизнь лихо ломающих язык одесситов.

Следует сразу же уточнить: против юмора лично я ничего не имею. Совсем наоборот, я – за! Причем сразу двумя руками. Он есть и в книге. Однако общепринятый расхожий портрет города, созданный, к сожалению, не без участия одесситов, зачастую очень обеднён. Одесса, как поется в известной песне, «знала много горя». Она бывает суровой.

Далее немного о политике. Кому-то что-то в этой книге наверняка-таки не понравится. Тут уж ничего не поделаешь. Правда не может всем быть по нраву. Она не всегда соответствует уже сложившимся представлениям, в частности, об Одессе, ее обитателях и пережитых ими временах.

Задача понравиться всем не ставилась. Единственное, за что лично я готов поручаться, это о том, что все это – правда. Люди, описанные в произведении, действительно ходили по этим улицам, жили в этих домах, говорили и делали то, что тут изложено. Мне доводилось общаться со свидетелями событий, порой с отцом никогда не встречавшимися. И все они подтверждали – всё было именно так.

Жили в Одессе Шикель-Макарона, Жирный Тонька-Сороконожка, Ленька-Мартын по фамилии Бидрий (он и сейчас, к счастью, есть), Ольга Каземировна со своим мужем, служившим в сигуранце, Толик Тит, Валера-Кишка и даже Павлик Морозов, попрошайка с Привоза (не тот, про которого знали когда-то все). И многие другие персонажи тоже дышали этим воздухом. Они не выдуманы, просто описаны. Правдой является история про замурованного женой в небольшой комнатухе мужа-еврея, пережившего оккупацию и покончившего с собой уже после освобождения.

Моя роль в создании книги состояла преимущественно в литературной обработке. Так получилось, что вот уже много лет я зарабатываю себе на жизнь умением излагать мысли. Этот навык я и применил, когда занимался редактированием произведения. Мы садились за кухонный стол и обсуждали каждую фразу, пока не добивались максимальной ее краткости и понятности. Все это время мы были счастливы.

Как-то отец сказал мне, что правда – это не то, как считает большинство людей. Правда – это то, что есть или было на самом деле. Голосование здесь не работает.

Отец ушел из жизни через три месяца после выхода книги. Он даже успел прочувствовать на себе последствия авторского успеха, правда, нельзя утверждать, что это было очень уж приятно. Ему постоянно кто-то звонил по телефону, читатели многословно выражали свои восторги и делились собственными воспоминаниями. Это было бы прекрасно, но отец, к сожалению, чувствовал себя плохо. Ему пришлось даже выдернуть вилку телефонного кабеля.

Сам я никогда бы не написал такой книги. Мне просто не хватило бы жизненного опыта. У меня было счастливое детство, пришедшееся на конец шестидесятых – начало семидесятых. Я не ел цветков акации и ягод железняка чтобы насытиться. На меня не падали бомбы. Меня не кормили леденцами и мамалыгой вражеские солдаты. Мне не бросали в пыль жевательную резинку американские чернокожие матросы торгового флота. У меня не было потемнения легких. Я, к счастью, вырос в полной семье – мои родители оба меня воспитывали. Отца не убили на войне.

Центром событий этого одесского Амаркорда служит красивый большой дом на улице Жуковского угол Ришельевской. Это – всего лишь маленький кусочек одесской жизни, но как раз такой, по которому можно судить обо всем остальном.

Всем, кто любит Одессу такой, как она есть и была, адресована эта книга. Им она посвящается. Это – первая ее часть, в ней – про войну и первые послевоенные годы.

От автора

Мой сын Евгений со школьной скамьи спрашивал меня о жизни города «при румынах». Коротко отвечать на такие вопросы сложно. Когда у меня появилось время, я уселся за кухонный стол и записал для сына то, что помню. Евгений многое уточнил, помог переработать, поэтому его участие в создании книги трудно переоценить. Посоветовавшись, решили назвать мои воспоминания «Записками одессита». Надеюсь, эта книга будет интересна людям, интересующимся историей нашего замечательного города.

Пролог

Эта небольшая книга не о героях. Это – описание Одессы и той обстановки, в которой пришлось жить обыкновенным людям, оставленным оккупантам как какой-то ненужный хлам (старикам, инвалидам, женщинам, детям). Потом по графе анкеты «были ли вы или ваши ближайшие родственники на территории, временно занятой врагом» переживших оккупацию не принимали на работу, что часто означало для них голод и смерть. Это было клеймо, почти такое же, как у тех, кто побывал в плену или тюрьме.

Руководители партии и правительства обосновано полагали, что люди, побывавшие в оккупации, уже никогда не будут им рукоплескать, умиляться их доблести и гению.

То, что я пишу от своего имени, не означает, что происходящее тогда касалось только моей семьи и друзей-товарищей по несчастью. Такой жизнью жили тогда почти все одесситы, а многие и более жуткой.

Почему я раньше о том, что видел и знал, не говорил и не писал? Потому что мне было не хуже, чем остальным.

Пережившие оккупацию не считались «врагами народа». Они были как-бы «подозреваемыми», впрочем, непонятно в чем. Просто, видимо, существовали секретные директивы, разо-

сланные по отделам кадров, как с ними поступать. Родственная связь с этими людьми резко ограничивала возможность получения хорошей работы, а тем более продвижения по службе. Они имели те же права, что и отсидевшие свой срок в тюрьмах, и даже могли голосовать за «кандидатов в депутаты». Такое право приносило им большую пользу: они могли купить пару-тройку дешевых пирожков в буфете избирательного участка.

Стараюсь быть максимально правдивым и понятным одесситам, и не только.

Большинство окружавших меня горожан тогда просто выживали и старались хоть как-то прокормить своих детей, больных, стариков. Продавали все, что у них было, а когда не было, что продавать, вынуждены были работать.

Любая работа на оккупированной территории после освобождения города считалась преступлением, пособничеством врагу и каралась соответственно. Выбора не было.

Людей, которых наши отступающие войска оставили, румыны, а затем немцы могли убивать и убивали без суда и следствия.

После освобождения «черные воронки» увозили оставшихся в живых с той же легкостью. И никто, даже ближайшие родственники, не знали, куда их везут. Через двадцать-тридцать лет им сообщали, что арестованные были ни в чем не виноваты.

Людей из таких семей я видел, когда проживал на углу улиц Привозной и Ленина, где все «удобства» были во дворе.

Если человек не был в оккупированной Одессе, он не сможет описать правду об этом периоде жизни города.

Миллионы этих граждан стали некой «черной кастой». По этой причине правдивой книги об этом периоде в советской литературе не было и быть не могло. Сейчас уже почти не осталось людей, переживших оккупацию в зрелом возрасте и могущих описать происходившее тогда.

Эти граждане СССР как будто были виновны в том, что наши войска оставляли населенные пункты. На них за это переносили ответственность, как и на попавших в плен или на невинно арестованных, и в каждой такой категории оказались десятки миллионов людей.

Я видел оккупацию глазами четырех-, пяти-, шестилетнего ребенка и мои переживания невозможно сравнить с эмоциями моих родителей или соседей, которым было за 30 и более лет, но у них теперь уже никто ничего не спросит.

Данные о количестве погибших одесситов во время оккупации взяты мною из различных источников, и они весьма условны.

У меня не было необходимости что-либо специально запоминать. Детская память сама сохранила события тех лет.

Начало октября 1941 года

Мне не было еще и четырех лет.

Вспоминаются бомбежки и воздушные тревоги с завыванием сирен и заводских гудков. Вспоминается переполненный людьми подвал нашего дома, где мы прятались с мамой и сестрой.

В какой-то из налетов авиации я вышел из подвала и оказался возле нашей соседки по квартире, тети Мани Талалаевской, которая под рев сирен жарила посреди двора на примусе лук на постном масле. Рядом стоял ее сын Гена. Тетя Маня дала нам по куску хлеба, положив на каждый по ложке жареного лука. Вкус этого бутерброда я запомнил навсегда.

За время обороны Одессы эвакуироваться могли практически все желающие, но вывоз населения начался неожиданно и срочно. Преимущественное право на эвакуацию получали семьи евреев и коммунистов. Было заранее объявлено, что при захвате города фашистами эти категории граждан будут уничтожаться в первую очередь. Многие этому не верили (немцы — это же культурная нация), и считали это очередной советской пропагандой.

Многие остались в надежде на предстоящую коммерческую деятельность. Вместо успешного бизнеса уделом большинства «коммерсантов» стала петля на шее во время экзекуций на Александровском проспекте.

Как я потом узнал, многие жилыцы нашего дома, и не только нашего, кинулись опустошать продовольственные магазины и склады. Несли домой всё – соль, спички, мешки с мукой, арахисом – всё, что могли схватить и дотащить домой. Мои родители не отличались расторопностью и в силу жизненного опыта многого опасались. Но об этом позже.

Короче, в нашей комнате запасов продовольствия не оказалось.

В коммунальной квартире начались ускоренные сборы соседей. Наша семья не относилась к тем, кто имел первоочередное право выезда. К тому же моя бабушка по маме, Пелагея, тяжело болела. Ехать куда-либо было просто невозможно.

Всю мебель и громоздкие вещи соседи оставили в своих комнатах. Что было можно, спрятали на чердаке и в подвалах, надеясь, что там и найдут, а город скоро освободят. Люди брали с собой только самое ценное, еду и немного одежды. Все были еще дома, но по комнатам уже гуляло чемоданное настроение.

Вскоре эвакуируемые начали разъезжаться, двери на ключ уже никто не закрывал и можно было ходить куда вздумается. В одной из комнат я нашел небольшой мешочек с арахисом и ел его, сколько хотел. Хозяин этой комнаты уже уехал. Во всей квартире осталась кроме нас только семья Андрущенко.

Андрущенко были спокойной, доброжелательной семьей. Тетя Оля не имела никакого образования и зарабатывала свой хлеб тем, что за небольшую плату прислуживала зажиточным еврейским семьям, проживавшим в нашей коммунальной квартире: варила еду, убирала в комнатах и местах общего пользования. Она была еврейкой, а когда вышла замуж за дядю Петю Андрущенко, поменяла не только фамилию, но и национальность – стала украинкой.

Она разговаривала без акцента, произносила все буквы четко, в том числе и «р». У них рос сын Толя, младше меня на два года, он только начал бегать.

К нам, в опустевшую квартиру, переселилась тетя Дозя Бедрий с дядей Ваней и сыном Ленкой – он был подвижным пацаном младше меня на год. Мы дружно бегали по гулким коридорам и комнатам.

Несколько дней в городе стояла тишина. Жильцы на всякий случай не выходили из квартир. Ожидали неизвестно чего и нам, привыкшим к шуму, передавалась родительская тревога. Двери черного хода, выходившие на винтовую лестницу, не закрывались. По ним в случае воздушной тревоги можно было спуститься во двор, затем на улицу, где было безлюдно.

Играл я в какие-то свои игры в пустом нашем дворе, и вдруг увидел вылезшего из подвала мальчика несколько старше меня. Он подошел и что-то невнятно стал объяснять. Возможно, у него было не совсем хорошо с головой. Потом он взял меня за руку и повел в пустой, как казалось, подвал. В его огромном пространстве царил полумрак, лишь в некоторое помещения проникал свет через пыльные окна и уличные решетки.

Под ногами валялись дрова, какое-то старье, уголь. Пацан подвел меня к какой-то старой женщине, лежащей в углу в куче тряпья. Она спросила парнишку: «зачем ты привел его?» Последовал какой-то невнятный ответ, после чего больной ребенок вывел меня обратно во двор.

О своем «путешествии» я сразу забыл, потому, что больше тех людей не видел. В том возрасте я мало понимал и ничего еще не боялся. Осколок чужой трагедии не произвел на меня особого впечатления. Наверное, родственники оставили больных людей в надежде, что они как-то переживут недолгую оккупацию...

Позже, при румынах и немцах, мы с Ленкой по подвалам не лазили. Нам хватало забот на улице, где было светло и нестрашно, даже когда город бомбили. Мне не исполнилось еще

и четырех, и я не мог представить себе состояние старенькой женщины, лежавшей в подвале без еды, еще и с таким внуком...

Тот давний, почти забытый мною случай всплыл в памяти только сейчас.

Вторая половина октября

Мы не могли еще задумываться над происходящим, просто смотрели на опустевшие улицы. Изредка мелькали и исчезали силуэты людей. Затем стали появляться румынские солдаты с винтовками. Вначале их было немного и ходили они группками по несколько человек, иногда с офицерами, одетыми значительно лучше солдат. Вместо обмоток офицеры носили брюки с ботинками, на голове – красиво изогнутые фуражки с большими кокардами.

Постепенно румын становилось больше, настроение их поднималось. Иногда они пели хором придуманную ими и переведенную на русский язык песню:

Сталин плачет в Москва.

Что Одесса нам сдана!

Мелодия песни была похожа на молдавскую.

Вскоре количество румын увеличилось настолько, что они стали ходить строем и их казармы стали занимать целые дома, расположенные по соседству, ближе к морю. В нашем дворе, в помещении швейной фабрики тоже разместились солдаты.

Каждое утро они строем выходили на Пушкинскую и в сопровождении оркестра маршировали к Горсовету, а мы их сопровождали по левой стороне.

Впереди ехал старший офицер на коне, а рядом колонну сопровождали верхом менее значимые офицеры, но вид у всех был очень важный. Возле мэрии солдаты выстраивались в торжественную колонну, оркестр играл румынский гимн, офицер на коне отдавал честь и рапортовал с обнаженной саблей какому-то начальнику, стоявшему недалеко от центрального входа. Все это выглядело очень пышно и торжественно, и на нас, малолеток, производило впечатление.

Несколько позже солдаты стали делать обходы жилых помещений и отбирать понравившиеся им вещи у жильцов. Обычно никто не возражал против их действий. Одесситы были к этому подготовлены. Что они могли противопоставить действиям власти?

Затем грабежи прекратились, солдаты перестали обходить квартиры. Среди жильцов были разговоры, что им запретили это делать.

Первоначально румыны планировали разместить свой штаб на Маразлиевской, в здании НКВД. В первые же дни оккупации они стали там располагаться.

Здание было заранее заминировано нашими чекистами совместно с саперами. Крупнейшая партизанская операция по взрыву этого здания, в котором находились более полусотни высших румынских офицеров и сотни солдат, произошла через неделю после начала оккупации.

За этот террористический акт одесситы заплатились жизнями более, чем 20 000 ни в чем не повинных жителей города. За каждого убитого офицера расстреляли 200 жителей-заложников, а за солдата – 100. После этого, партизаны не рисковали убивать румынских солдат и офицеров. Долго проводились облавы и расстрелы...

Электроэнергия подавалась нечасто, но бесплатно. Когда света не было, зажигали керосиновые лампы или свечи. Те, у кого и этого не было, сидели в темноте. Такие неудобства на голодный желудок мало кого беспокоили.

При наступлении комендантского часа на темных улицах солдаты переставали петь о горевавшем в Москве Сталине и изредка постреливали от страха, а может чтобы попугать. Папа в темноте курил махорку, и огонек самокрутки светился ночью всегда, когда я просыпался.

По утрам румыны поднимали такой галдеж, что просыпались все соседи. Потом солдаты строились и выходили к штабу, который размещался на улице Жуковского, в № 15, где возле входа во двор стояли один или два румынских солдата с винтовками.

От самого подъезда двор напоминал муравейник, в котором вместо насекомых копошились румынские солдаты. Здесь они вели себя так, как будто находились в какой-то усадьбе в Румынии: кричали, свистели, пели и шутили. Они больше походили на подростков, чем на солдат.

Очевидно, многим румынам казалось, что они приехали в Одессу поиграть в войну. По правилам этой забавы можно было стрелять не из игрушечных, а из настоящих винтовок, весело убивая евреев и коммунистов.

Те, кто с детства любил животных, играли с лошадьми, обмывали и расчесывали их гривы и хвосты, ласкались к их мордам. Я смотрел на красивых коней, с достоинством принимавших заботу солдат – они как будто понимали, что во время парадов возят на себе героических воинов.

Когда из помещения штаба через подъезд выходил какой-то офицер, звучала громкая команда, солдаты вытягивались в струнку, и во дворе становилось так же тихо, как и на улице. Офицер громко произносил что-то, понятное солдатам, и гомон возобновлялся. Нам с Ленкой нравилась такая компания: у румын было веселее, чем на безлюдной улице. Да и солдаты во дворе выглядели добродушнее, чем в городе.

Жильцы этого дома проходили мимо них свободно. Мы тоже. Иногда мы приходили тогда, когда они выстраивались для торжественного марша. Лошадей держали под уздцы солдаты, а те гордо ожидали своих седоков. Тогда кто-то из солдат намекал нам и другим пацанам, поддав нам под зад, чтобы мы убирались со двора. Далеко от ворот мы не отбегали, боялись пропустить самое интересное.

Солдаты выстраивались для парада по Пушкинской – их было столько, что мы думали о том, когда же они выйдут из двора все. Часовые всегда оставались на своих постах возле двора и в конце подъезда. Был в строю и большой духовой оркестр, который шагал впереди солдат и играл после их выхода из двора до бульвара Фельдмана (как его тогда называли), то есть Приморского бульвара.

Однажды румыны арестовали всех мужчин нашего дома, наверное, и других домов тоже. Мама взяла меня с собой, и мы пошли передать еду отцу в здание, расположенное на Греческой, напротив теперешнего отделения милиции на углу Красного переулка. Женщин и детей там было очень много, а за решеткой я увидел бледное лицо папы среди других мужчин.

Передачу не приняли, но в таком хаосе отец все равно ничего бы не получил. Через день папу выпустили, как и большинство арестованных. Возможно, они искали евреев или коммунистов, а может, просто хотели запугать население. Нас, детей, оккупанты не замечали, и мы свободно бегали вблизи своего дома, играли в свои игры без игрушек и даже не знали, что таковые могут существовать. Однако и обделенными себя не чувствовали, не ведая, что может быть иначе.

Ни о каких игрушках ни я, ни Ленка не знали и до войны. Мой отец занимал на канатном заводе должность начальника планового отдела, но он не имел возможности покупать мне игрушки, хотя совсем не пил спиртного. Мама до войны работала инженером на консервном заводе им. Ленина, и ее зарплата тоже не давала родителям возможности жить лучше.

Да и зачем мне игрушки?

Мама нервничала, пока папа был под арестом. Мне было жалко их обоих, а когда отец вернулся, случился праздник, какого я не знал раньше. Не было праздничного стола, не было вина, но было что-то такое, чего невозможно объяснить. Всей душой ощущалась радость...

А я подумал: румыны такие хорошие и добрые – отпустили папу. Вскоре я запутался в своих мыслях, потому, что пришлось увидеть много такого, чего я не ожидал...

Из разговоров взрослых соседей и родителей я понял, что каких-то евреев вешают и расстреливают, но для меня это были пустые слова, лишённые смысла. Видел позже и сам повешенных и расстрелянных – это были почерневшие трупы. Обходили мы их с Ленькой стороной без всякого любопытства. Они нам не могли ничего сказать...

Значительно позже я задумался: «о чем могли думать одесские евреи, добровольно отправляющиеся в гетто?» Оставаться в своих квартирах становилось равносильно самоубийству, это я видел. Куда можно уходить в полупустом городе? Оставалась у людей надежда, что в гетто у них есть какой-то шанс. Хуже смерти ничего не будет, нужно идти. И шли...

Оказавшись в садике между Матросским и Ольгиевским спусками, многие могли пожалеть о своем выборе, которого не было... Этот садик такой же грустный, как и парк Ильича, когда-то бывший кладбищем.

Румынские солдаты

Все, что происходило тогда, для меня не было загадочным, поэтому и не особо запомнилось. Событие, ставшее отправной точкой моего мироощущения произошло внезапно, прозаично, буднично и от этого еще более страшно. В солнечную погоду я играл в куче песка, неизвестно кем и для чего припасенным во дворе. Вдруг откуда-то сверху раздался громкий крик.

На освещенном ярким солнцем балконе четвертого этажа двое румынских солдат деловито-спокойно, за руки и за ноги раскачивали жившего наверху парализованного соседа, еврея. Он, разумеется, понимал, для чего его раскачивают, и кричал так, как могут кричать только обреченные. Из немногочисленных жильцов, оставшихся в доме, окна которых выходили во двор, никто даже не выглянул. Я четко это помню, потому что осмотрел все окна двора и пошел по направлению к подъезду, над которым располагался балкон.

Надо мной взвилось кричащее тело, оно летело, размахивая руками, животом вниз. Затем человек ударился о землю недалеко от меня – звук был такой, как будто что-то лопнуло во всем его теле. Крик прекратился сразу, конвульсии сотрясали упавшего старика, а из глаз, носа и рта текла кровь. Я постоял некоторое время рядом с умершим, еще не понимая, что произошло, но нутром ощутив тревогу. Вернулся опять к куче песка.

Мне почему-то расхотелось играть. Было ощущение, что лежащий сзади инвалид чего-то просит. Я вернулся к нему – он лежал тихо и смотрел на меня окровавленными глазами. Мне стало жутко, и я побежал домой. Рассказал о случившемся папе. Он меня успокоил, напоил водой. «Ты сейчас ничему не удивляйся, все может быть». Папа погладил меня по голове, и мне стало спокойно.

Какими были последние минуты парализованного старого еврея, испуганно сидевшего в коляске на балкончике своей комнаты на четвертом этаже? Он не был один в большой угловой комнате, когда румынские солдаты обходили коммунальные квартиры в поисках коммунистов и евреев. Его родственники засуетились, услышав крики в парадной, потом раздался грохот открываемой входной двери. Дети успели выкатить старика на балкон и подчиняясь тревожному стуку прикладов открыли дверь комнаты.

Затем события развивались просто: румынам не составляло труда определить, что они нашли большую еврейскую семью. Солдаты привычно выгнали жильцов из комнаты и коридора, и по широкой мраморной лестнице повели их вниз, подгоняя прикладами...

По этой красивой лестнице еще совсем недавно жители, независимо от национальности, спокойно поднимались и спускались, весело шутили с соседями, встречая их на площадках. Иногда ругались. Теперь их гнали в неизвестность, и они переживали за своего деда. Кто его накормит? Кто будет за ним ухаживать?

Женщины плакали, дети испуганно суетились у них под ногами. Двое здоровенных, деревенского вида румын, совсем недавно призванных в королевскую армию, остались в квартире. Им еще не доводилось смотреть с такой высоты вниз, на вымощенную квадратными гранит-

ными плитами землю. Один из них вышел на балкон и неловко зацепился за коляску. Старик, сидевший в ней уставился на него испуганными глазами.

– Здесь спрятался старый жид! – радостно окликнул он своего напарника.

– Гони его вниз, к остальным! – отозвалось в гулком коридоре.

– Он парализованный, иди сюда...

Старик не понимал по-румынски, хотя и чувствовал, что перекликаются солдаты о нем. Может быть, они не знают, как доставить его в больницу? Старик напрягся, его пугала неизвестность. Тут на балкон вышел второй румын, и весело предложил:

– Не будем с ним возиться, сбросим с балкона! Так будет быстрее!

Оба засмеялись: еще никто из их товарищей не сбрасывал жидов с четвертого этажа! Подняли перепуганного еврея из коляски, один уцепился крепкими крестьянскими пальцами за запястья, второй – за ноги. Старик понял, для чего его так ухватили, когда его стали мягко раскачивать, так, как раскачивают детей в морской воде... Он громко закричал, и этот крик отвлек меня от игры в песке...

О чем думал паралитик, летящий со своего балкона к быстро приближающимся гранитным плитам нашего двора? Наверное, он с ужасом смотрел на бегущего к месту его падения ребенка, который, задрав голову, смотрел на летящего деда ничего не понимающим взглядом. Мальчик запомнил этого старика на всю жизнь...

О чем думали молодые веселые румынские солдаты, наблюдавшие сверху за полетом кричащего старика-еврея? Позже советские и иностранные историки говорили: война есть война... Она без жертв не бывает. Войны бывают справедливыми и несправедливыми. Это всё теория.

А на практике еще одна вселенная разбилась о гранитные плиты двора на улице Жуковского.

Вскоре после этого случая румыны организовали под этим балконом солдатскую столовую. Рядом со входом соорудили длинную скамейку и каждый день к обеду моя тяжело больная бабушка Пелагея сажала меня не нее рядом с собой, и мы ждали, когда поедят румынские солдаты.

Они уходили, и тогда дежурный по столовой показывал нам куда сесть, наливал в солдатские миски борщ, давал мамалыгу, компот или чай. Все это было очень хорошо приготовлено – вкус мамалыги и борща я запомнил навсегда. И если борщ у меня сейчас иногда получается, то мамалыга, сколько я ни пробовал приготовить, не шла ни в какое сравнение с тем вкусом из детства. Видимо, для того, чтобы ее так приготовить, нужно быть румыном или молдаванином.

Мы с бабушкой Пелагеей каждый день сидели на скамейке, слушая всасывающие и хлюпающие звуки при приеме горячего борща и чавканье солдат при потреблении мамалыги. Ждали, когда поедят румыны и по команде встанут. Они выходили из-за столов, весело икая, перекидываясь шутками. Я нетерпеливо ожидал, когда они покинут столовую.

Дежурный солдат не успевал жестом разрешить нам пересесть со скамейки за освободившийся стол, как мы с бабушкой оказывались на месте с ложками в руках. Пока дневальный собирал алюминиевую посуду с других столов и протирал их тряпкой мы успевали съесть вкуснейший борщ вместе с мамалыгой.

Бабушка, вставая, всегда благодарила «деточку-румына», крестила его. Из столовой я выходил еще более веселым, чем солдаты, и она не знала, как меня успокоить. Румыны, находившиеся во дворе, смотрели на меня и смеялись. Они тоже были сыты, а потому – веселы.

Среди них случались разные люди, и офицеры, видимо, знали, кому из солдат можно поручить какую «работу». Были, как и в любой армии, любители вешать, расстреливать... Были и те, кто просто хотел жить. Таких обычно считают плохими солдатами – они не хотят

становиться генералами. Их сложно отличить по внешнему виду от хороших. Румынские солдаты почему-то не хотели умирать на поле брани, но в дальнейшем пришлось.

Бабушка Пелагея

Бабушка часто брала меня за руку и водила в церковь. При пересечении Александровского проспекта она о чем-то со мной разговаривала чтобы я не замечал повешенных евреев на деревьях. На улицах и в Соборе людей было мало. Бабушка долго о чем-то разговаривала с бабушкой, а я ходил по огромному залу и радовался красоте, не соответствующей угрюмому виду города.

Возле Успенского собора (тогда я его названия не знал) толпились нищие, грязные дети и оборванные старухи, по сравнению с которыми мы с бабушкой смотрелись состоятельными людьми. Они бросались нам под ноги, выпрашивая подавание, но у нас не было никаких денег. Иногда Пелагея вынимала из «загашника» какие-то мелкие советские монетки чтобы купить свечку и поставить ее за умерших...

Мама знала о копеечных сбережениях бабушки, но на них не претендовала. Возможно, эти деньгигодились для оплаты похорон Пелагеи осенью 1942 года...

После похорон мама нашла в ее пуховой подушке спрятанные «катеньки», которые были уже никому не нужны. Эти деньги она хранила со времени срочной продажи двухэтажного дома в ее родной станице Веселая, откуда она бежала с детьми от резни.

Однажды бабушка Пелагея, поясняя мне в очередной раз, чтоб я не говорил родителям об увиденном, забыла отвлечь меня от панорамы Александровского проспекта, где на деревьях висели мертвые люди, освещенные солнцем. В пустом садике качались в тишине евреи с табличками на шее и меня заинтересовало, зачем они нужны:

– Бабушка, а что это за дощечки? – я никогда не видел, чтобы люди носили на шеях такое украшение.

– Пошли, пошли, это тебе еще рано знать – поторопила меня старенькая Пелагея.

Бабушка в последние дни своей жизни ходила трудно и медленно. Когда мы возвращались из церкви, Пелагея говорила: «Не говори папе и маме, пусть они не знают, куда мы ходили». Я никогда ее не подводил. После этого мы обычно усаживались на скамейку возле румынской столовой и ждали обеденного времени.

Чтобы я никуда не убежал, она мне рассказывала сказки, интересные и смешные, про Царевну-Лягушку, Аленушку, Иванушку. Какими бывают лягушки, я не знал, о царевнах тоже осведомлен был мало. О Кошечке Бессмертном догадывался – румыны могли в него стрелять, а ему, наверное, хоть бы что, разве ребро поцарапают...

Когда дежурный пускал нас сесть за стол, уговаривать меня не было необходимости, я ел до икоты. Пелагея крестила, как всегда, дежурного по столовой солдата, а мне говорила: «Не говори папе и маме, что мы кушали у румын». Я и эту просьбу бабушки исполнял, хотя мама, конечно, видела мой выпяченный живот. Она ласкалась к бабушке, как будто ничего не понимала...

Бабушке было трудно подниматься на третий этаж и спускаться вниз, но через время она снова брала меня за руку и шла к школе. Там мы сидели на тумбу возле входной лестницы, и Пелагея продолжала сказку о том, как гуси несли Аленушку, потому что без этого я убежал куда хотел и когда хотел...

Бабушка Пелагея меня очень любила, когда могла, старалась гулять со мной, но осенью 1942 года она умерла. Бог ей дал спокойную смерть, без мучений.

Ее положили на большой стол посреди комнаты, а мама с соседкой на кровати перебирали виноград для поминок, и я подсел к ним. Взял гронку и понес бабушке: «на, бабушка, съешь, не притворяйся». Эту смерть я перенес сложнее, чем то, что видел ранее.

Я хорошо запомнил похороны бабушки Пелагеи. Соседи помогли снести гроб с телом по лестнице нашей парадной на улицу, где ждала подвода с лошадью. Гроб положили на телегу, меня посадили рядом с извозчиком. Мои родители и соседи с несколькими старушками, знавшими бабушку, пошли сзади.

Медленно ехали по Ришельевской, потом по Водопроводной. Было тепло и солнечно. Въехали в центральные ворота Второго Христианского кладбища и остановились возле церкви. Взрослые мужчины внесли гроб в Храм.

Мои родители не были людьми верующими, однако бабушка веровала, и по ее последнему желанию похороны проходили согласно православному обряду. Потом гроб отнесли на руках к уже вырытой могиле. Когда его опускали вниз, одна из бабушкиных подруг поставила меня рядом и показала: «смотри, как твою бабушку глубоко закапывают».

Потом пошли обратно, по Водопроводной улице, зашли к каким-то маминым знакомым, где помянули бабушку Пелагею. Потом брели пешком домой и я услышал, как ребята, немного старше меня пели:

Антонеску дал приказ: всем румынам на Кавказ,
А румыны: «ласа, ласа», ла каруцэ ши ла каса
(«хорошо, хорошо, на телегу и домой»)

Улицы города были совершенно безлюдными. Я не помню, чтобы по ним ходили даже румынские патрули. Кто помог родителям в то трудное время организовать бабушкины похороны, я не знаю. Когда мама была жива, я не спросил, а потом... То, что похороны не обошлись дорого, понятно. Пелагею похоронили далеко от центральной аллеи, по тем временам – на окраине кладбища. Но ведь и скромными средствами родители не располагали.

Тогда могилы располагались не очень плотно. Недалеко от бабушки была похоронена румынская девочка, приехавшая с родителями. Многие румынские военные и предприниматели привозили с собой семьи в надежде остаться навсегда.

Родители не имели возможности держать нас возле себя и объяснять, куда можно ходить, а куда нельзя. После смерти бабушки Пелагеи, водившей меня за руку, я стал в возрасте четырех лет вполне самостоятельным. У нас с Ленкой не возникало мысли, что можно заблудиться в городе, на бульваре Фельдмана, например, и не найти обратной дороги к нашему дому. Ноги нас уводили от него и сами приводили, когда приходило время, о котором сигнализировало громкое урчание в пустом животе.

Мама находилась дома очень редко. Не всегда бывал дома и отец с сестрой, поэтому не помню семейных завтраков и обедов, но к вечеру папа обычно накрывал стол, на котором помещал разогретую на «буржуйке» сковородку с куском мамалыги, и ждал, пока мы с сестрой разделим ее по-братски. Все комнаты нашей коммунальной квартиры не закрывались на ключ. Мы знали, где живем, а в комнаты соседей не заходили, если нас не звали.

«Что такое хорошо?»

В румынскую столовую я не догадался ходить, хотя, возможно, солдаты меня и продолжали бы кормить по старой привычке.

С этого времени мое питание стало таким же скудным, каким оно было у моих сверстников и друзей, четырех – шестилетних одесситов.

Мы были постоянно голодны, но почему-то веселы. Как тогда говорили – жизнерадостные рахиты. Сказать, что мы были худыми – не сказать ничего.

Как-то раз один из сверстников назвал меня головастиком, что мне показалось обидным, хотя я, наверное, так и выглядел. Сейчас трудно себе представить состояние матери и отца, видевших своих голодных детей и знавших, что ничего для них сделать не могут. В таком положении было большинство родителей-одесситов.

В той комнате, с балкона которой в начале оккупации выбросили инвалида, поселилась тетя Аня с мужем Гришей. Они были бездетными. Дядя Гриша до войны работал где-то охранником, а тетя Аня обстирывала соседей, что-то перепродавала – это была обычная одесская семья.

При румынах охранять стало нечего, те сами знали, что охранять, а что разворовывать. Тетя Аня умудрилась-таки найти клиентов. Она несла большую стопку вещей, и я видел со стороны двора, как легко она перенесла их через окно черного хода на крышу бывшей фабрики. Соседка по довоенной привычке «сохнула» белье на крыше.

Я побежал по черному ходу к окну четвертого этажа. Встал на раму и перепрыгнул на крышу. Погрелся на солнышке, и пришла мысль, что пора домой. Подошел к краю крыши, но прыгнуть наискосок в окно не решился. Посмотрел вниз – там ходят маленькие румынские солдаты – падать на них страшно. Недалеко пожарная лестница, но там проемы длиннее моих ног. В голову ничего не приходит. Тетя Аня в окно увидела мое замешательство. Подошла к черному ходу, позвала меня. Я, радостно завизжав, подошел к краю крыши.

– На руку, и хорошо за нее держись! – скомандовала она.

Я уцепился за теплые пальцы и легко перебрался на черный ход.

– Будешь еще сюда ходить? – спросила тетя Аня.

– Не-е-е!

Такое знакомство с высотой мне не понравилось.

Почти все взрослые не имели возможности прокормить своих детей, стариков, да и самих себя. Мы знали, что дома чаще всего съестного ничего нет, а потому и не просили еды. Соседские дети объединялись и группами бегали по подвалам, лазили по деревьям и набивали животы всем, что цвело и плодоносило.

Мы знали, что скоро начнет цвести акация, потом поспеет шелковица, осенью появятся ягоды железняка и просиживали часами на этих деревьях, поедая «урожай». Любая болезнь, будь ты взрослым или ребенком, тогда означала смертельную опасность. Никаких медикаментов или медицинской помощи просто не было и быть не могло. Однако отравлений мы боялись меньше, чем голода.

Рядом с нашим домом, перед подъездом следующего, 21-го двора, располагался с довоенных времен винный склад с выходом на улицу. Почти ежедневно ранним утром румынские солдаты с грохотом поднимали гофрированную штору, закрывавшую его входную дверь. В утренней тишине слышно было, как постукивают пустые фляжки, канистры и котелки, и как нетерпеливо топчутся солдаты в очереди, которую устанавливал шустрый офицерик.

Обычно сперва подъезжала штабная каруца, на нее сразу грузили бочку с вином. Штабные солдаты ее грузили, они же ее гордо охраняли. Затем офицер запускал в склады по несколько человек. Он знал каждого из них, и для кого они получают суточный запас. Относился он к солдатам по-разному – одним старался угодить, других почти не замечал, а третьих презрительно перемещал в самый конец очереди...

Солдаты, входя в складские помещения, выбрасывали на тротуар окурки сигарет и с веселым настроением вбегали поднимать боевой дух. Поднимали они его, видимо, раньше, чем заполняли свои емкости. Одухотворенные и обвешанные заполненной тарой, они появлялись на выходе через несколько минут, а в помещение запускались следующие...

Из этого источника снабжались не только румынские военные и их семьи, но и женщины, которых они посещали... Обычно заправка горючим продолжалась недолго. Солдаты возле складов не задерживались и весело расходились по местам дислокации своих офицеров и их любовниц, почти твердо шагая по булыжным мостовым города. Затем опять громыхла железная штора, и шустрый офицер колдовал над замком, вихляя задранным кверху задом.

Румыны думали, что вина хватит на все время оккупации Одессы. Они ошиблись, его было значительно больше...

Перед тем, как немцы вошли в город, румыны стали выкатывать бочки с вином на булыжную мостовую. Предварительно они выбивали пробки из бочек и толкали их вниз по мостовой, затем бочки катились сами. Вино из них лилось рекой.

Редкие прохожие могли его пить, никто не запрещал. Соседи брали бутылки, ведра, наполняли их и несли домой. Мы с Ленкой принесли какие-то банки, смотрели как пьют вино взрослые и пили сами. Вино было хорошее, приятно-кисловатое, красное, в общем, нам нравилось. Меры мы не знали (не получили должного воспитания) и я плохо помню, как очутился дома. То же произошло и с моим «собутельником» Ленкой. Склад был большой, вереница бочек катилась вниз по улице и на следующий день. Так мы впервые попробовали вина.

Через несколько дней вино принесло несчастье жильцам дома, в котором находились склады. Среди тех, кто сообразил принести домой несколько ведер вина были жильцы крайней слева квартиры второго этажа этого двора. Они пригласили своих друзей и устроили попойку на балконе, расположенном недалеко от угла. Через некоторое время к ним присоединились и соседи, принесшие с собой какую-то закуску. В итоге, старенькие ржавые крепления не выдержали. Двор находился рядом с нашим, и я был недалеко от ворот в тот момент.

Раздались громкие крики. Взрослые одесситы и одесситки побежали во двор № 21, я за ними. Людей было немного, но прибежавшие хотели как-то помочь: стали разбирать доски, оттягивать перила балкона. Оставшиеся в живых кричали и стонали. Из-под обломков вытащили, наверное, семерых или восьмерых. Их положили недалеко от места падения. Медицинских работников среди прибежавших соседей не было, квалифицированную помощь оказать никто не мог. Люди рвали на пострадавших одежду, пробовали как-то перевязать поломанные конечности. Боль пострадавших я не воспринимал, просто наблюдал. Потом кто-то взял меня за руку и повел домой.

Иногда партизаны убивали румын. Была ли польза от таких действий? После каждого случая происходили облавы, и за каждого убитого оккупанты казнили до ста человек.

В течение первых месяцев оккупации города румыны вели себя не очень активно, и убивать их из-за угла не было смысла. Судьба страны не зависела от таких комариных укусов подпольщиков. На полях сражений погибали сотни тысяч оккупантов и еще больше – наших солдат.

Вспоминаю слово «облава», которое произносилось почти привычно родителями, сестрой, соседями. Никто не знал, кого румыны отпустят, а кого повесят или расстреляют. Люди испытывали временные неудобства при повешении, которые скоро заканчивались, а те, кого расстреливали, иногда не успевали даже испугаться...

Когда слышал от приехавших из эвакуации о том, что нам при румынах было хорошо, вспоминаю радость одесситов, которые при освобождении города вели себя, как маленькие дети, которых мама прижимает к груди, а в это время медсестра всаживает ребенку в попку прививку. Ребенок не понимает, за что его больно укололи, и удивленно смотрит на маму.

Как сравнить, когда одесситам было лучше? Во время оккупации жители не говорили о людоедстве. После освобождения подобные слухи распространялись. Была ли это вражеская пропаганда, или слухи имели основания, трудно сказать. Но голодать мы стали жестче, чем при румынах.

От оккупантов никто ничего хорошего не ожидал. Никого они не кормили и не собирались этого делать, но и не запрещали спекуляцию, воровство, проституцию. Предприимчивые люди открывали магазины, рестораны, бордели, и им, пожалуй, было неплохо. Те, кто не нарушал румынские оккупационные законы, имели шанс пережить эти три года, но после освобождения часто завидовали мертвым на протяжении десятилетий.

Никогда в центре города нам не приходилось видеть румынских танков или автомобилей. Когда в скверике на Молдаванке установили танкетку «На испуг», то было удивительно, как такое «чудо техники» могло воевать во время обороны Одессы. Впрочем, в глазах румын, вооруженных винтовками, такая наша техника была, наверное, очень грозной и гремучей...

По поведению оккупантов в городе, было не похоже, что среди солдат нашлись бы герои, мечтавшие бросаться под наши танкетки. В большинстве своем румыны были обычными мародерами, ценившими свою жизнь высоко.

Почему-то данные о потерях румынских войск при взятии Одессы и освобождении города никогда не публиковались.

Для Леньки я был непререкаемым авторитетом, и он ходил за мной всюду, никогда не спрашивая, куда и зачем идем. Я вел его на море, дорогу я освоил через парк Шевченко. Мама брала меня с собой, когда ходила стирать носильные вещи (мыла дома не было, а других стиральных средств не могло быть тем более).

На массиве возле «дотика» мы располагались на горячих камнях, как и редкие другие «курортники». Мимо нас ходили ребята старшего возраста, носили чайники, завернутые в белые мокрые полотенца, в которых была вода с кусочками льда, неизвестно откуда взятыми. Эти загорелые мальчишки пели невеселыми голосами песню:

Есть вода, холодная вода

Кому напиться, прохладиться...

Есть вода, холодная вода

Пейте воду, воду, господа...

Чтобы покупаться мы перемещались вправо, к Ланжерону, на мелководье, где был очень чистый песок. Несколько лет на нем почти никто не лежал и море его очистило до идеального состояния. А такие курортники, как мы, не могли его загрязнить в силу отсутствия продуктов, а, следовательно, и отходов от них.

Разница в состоянии песка появилась значительно позже, после освобождения, когда приехавшие из эвакуации одесситы, соскучившись по морю, стали располагаться на пляже семьями, и как восточные народности на коврах раскладывали еду и выпивку вокруг себя. Во время пиршеств, не отходя от места «отдыха», тут же закапывали куриные кости, кукурузные и яблочные кочаны, окурки в песок. Бегать по пляжу стало опасно, и вообще он стал напоминать мусорную яму, посыпанную песком, но никто и никогда на такое его состояние внимания не обращал.

А тогда мы с Ленькой лежали на идеально чистом песке, но питание наше оставляло желать лучшего, и мы были очень худыми. Как-то проходили мимо нас два пацана, старше нас, и один говорит другому: «посмотри на этих скелетов».

Хотя не одни мы были такими «упитанными», мне это показалось обидным, и я стал обращать внимание на «толстых и тонких». Однажды мы лежали на массиве недалеко от компании, состоявшей из мужчины лет тридцати «с животиком» и нескольких женщин, лет по двадцать-двадцать пять. Мужчина громко рассказывал, что, когда он был молодым, то был очень худым, как они – кивнул он в нашу сторону, и очень от этого страдал.

«А теперь я стал таким, как вы меня видите». Женщины кокетливо рассмеялись, и рассказчик самодовольно усмехнулся. А я подумал: «Врет, наверное».

Мама Леньки, тетя Дозя от природы была очень веселой и ее настроение мало зависело от обстоятельств. Она любила с нами шутить и обучала нас, четырех-пятилетних малышей, таким поучительным песням:

Мишка, мишка, медведь,

Научи меня пердеть,

Если не научишь, –

В морду получишь

Наш желудок тогда не всегда был полным, поэтому мишка нас обучал слабо, но видимо, пробовал, чтобы в морду не получить.

Тетя Доза никуда не ездила, ничего не продавала, но каким-то образом умудрялась, вместе с мужем Иваном, кормить сына, Леньку. Впроголодь, но все-таки... Когда Ленька просил еду, которой дома не было, она говорила: «Подожди, а то икать начнешь».

Ленька еще не знал, что можно наесться до икоты. Часто тетя Дозя, видимо с голодухи, устраивала в своей комнате визгливые скандалы. Дядя Ваня после оккупации сбежал от нее куда-то на Молдаванку...

Как-то в своем стремлении к освоению пространства мы с Ленькой добрались до чердака нашего дома и в глубоком закоулке возле входа нашли огромный ящик, который сдвинуть своими силами не смогли, но поломать сумели. Стали вынимать содержимое – хорошо упакованные скальпели, пинцеты, шприцы, иглы к ним и многое другое, свидетельствующее о том, что хозяин ящика – врач. Затем достали отдельный ящик, в котором была упакована большая хрустальная люстра.

Фрагменты этой люстры мы стали сбрасывать с крыши на гранитную мостовую. Эффект был поразительный – хрусталики разбивались в пыль и появлялась радуга, шарообразная и очень яркая. Наблюдать такую красоту одним нам показалось непозволительной роскошью. Мы позвали Витьку (Беню) и Толика (Тита) и стали бросать хрусталики четвером. То, что зрелище оказалось красивым, слов нет, но цена такого представления была безусловно, неоправданно высокой. Впрочем, в те дни и человеческая жизнь не стоила ничего.

Многие сараи были взломаны до нашего в них проникновения. Там мы находили упаковки значков «Ворошиловский стрелок», зажимов для пионерских галстуков, никелированные пожарные каски с гребешками сверху и еще много такого, что в то время было никому не нужным хламом.

Бани в городе не работали. Румынские солдаты строем ходили купаться в баню Исаковича, работавшую круглосуточно, а местное население туда не пускали. Все одесситы мылись дома в мисках и корытах. Воду нагревали на примусах или печках, которые устанавливали ближе к окнам, туда же выводили дымовую трубу. Такая «буржуйка», как ее называли, была и в нашей комнате.

Летом купались в море, в нем же стирали одежду. Позже появилось жидкое мыло в банках, но оно было очень дорогим для нашей семьи и расходовать его следовало очень бережно. Позже взрослые говорили между собой, что это мыло было получено из концлагерей, в которых его вырабатывали из человеческого жира, что вполне могло быть правдой.

Когда пришли румыны, одесситам, оставшимся в городе, нужно было доказывать, что в их жилах не течет еврейская кровь, даже если они четко выговаривали весь алфавит. Часто мешал нос, мешали глаза, и то, что обрезал раввин.

1942 год

В дальнейшем люди стали, кто как мог, приспосабливаться, но в первый год оккупации очень много взрослых и детей не выжили, и не только потому, что их вешали и расстреливали, но и от голода.

Люди, оказавшиеся в занятом врагом городе, были никому не нужны. О них никто не собрался даже думать. Когда уходили наши войска, магазины и продовольственные склады были разграблены или уничтожены. По законам военного времени, это, возможно, и правильно.

Всё, что осталось ценного, румыны прибрали к рукам и отправили домой вместе с металлом и всем, что можно было вывезти, включая одесский трамвай. И они тоже поступили правильно – по законам военного времени. Коммерсанты все же появились.

То, что стали продавать предприимчивые люди, можно были купить на румынские леи или немецкие оккупационные марки, которых у одесситов не было и быть не могло. Конечно, Одесса – торговый город, но начинать с ничего мало кто мог, а из тех, кто мог, большинство еще до войны были отправлено за спекуляцию в места «не столь отдаленные».

Оставшиеся после захвата города люди были преимущественно инвалидами, стариками, женщинами и детьми. В лучшем случае они умели только честно работать, но это мало кому было нужно. Чтобы как-то выжить, люди стали ездить в поездах по селам. Там, где наши отступающие войска и наступающие захватчики не все отняли или уничтожили, у крестьян что-то оставалось.

Румыны, конечно, думали, что они пришли навсегда и не доводили сельских жителей до состояния голодомора, считая их в дальнейшем своей рабочей силой, еще и организованной в колхозы.

Оставшиеся в оккупации крестьяне оказались в более терпимых условиях и могли себе позволить обменивать продовольствие на «городскую» одежду, которую им привозили в деревни сами жители больших и малых городов. Конечно, и на селе было не до жиру, но все же лучше, чем в городе.

Обязанности жильцов коммунальных квартир остались теми же, что и при советской власти – соседи так же убирали места общего пользования и «калидоры». Шумные скандалы прекратились, никто не пробовал никого выводить «на чистую воду».

Молодые одесситки, погуливавшие с оккупантами, пользовались их покровительством, – против власти не попрешь. Во время веселых оргий они пели песни, которые сами сочиняли на мотив молдавской танцевальной мелодии:

Мамалыга – попушой –
У румына х.. большой...

Если до войны некоторые жильцы писали анонимки, а иногда и целые письменные доклады в НКВД, то теперь не стало в доме «коммунистов – хороших чекистов», и стучать стало некому и некуда. Наверное, поэтому, после освобождения города повсеместно зазвучало: «вам при румынах жилось хорошо!»

Никого не интересовало, кто как выживает, и никто не оправдывался перед соседями, с каких средств он варит борщ.

В наилучшем положении оказались пацаны в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Их румыны считали детьми, а они уже были одесситами с головой на плечах. Проникали в порт, в пустующие квартиры, сараи, знали, куда и что можно приспособить. Все, что происходило в городе, списывалось на партизан, а не на малолетних мародеров и бандитов. Такой подход к ребятам был выгоден и партизанам, и оккупантам.

Эти пацаны не боялись смерти, не знали, как живет калекам, и не желали голодать. После освобождения Одессы в основном из них организовывались банды, подобные «Черной кошке». И позже, в советских лагерях, они не были «черной кастой».

Челночные поездки при румынах часто заканчивались трагически для одесситок, но выхода не было. Крестьяне продуктов в город не везли, им рисковать не было необходимости.

Челноки того периода, наши мамы, мелкие спекулянтки, а точнее, нищие одесситки, продающие последние носильные вещи из дома, привозили каждый раз немного продуктов. Это было основное питание их семей. Маме везло: не было случая, чтобы у нее отобрали вещи или еду румыны или бандиты.

Появлялась она дома после дорожных переживаний веселой, потому что удавалось привезти продукты своей семье. Других причин для веселья не было. По рассказам челноков, румыны в деревнях не свирепствовали, может быть, потому, что там не оставалось евреев и коммунистов, а убивать безобидных крестьян и женщин у них приказа не было. Мамы, сохра-

нившие наши жизни во время оккупации, даже не думали о том, что совершают каждодневный подвиг.

Однажды в вагон, в котором мать ехала в Василиновку (так я запомнил с ее рассказа) вошел высокий мужчина в макинтоше. Вдруг из-под полы его плаща высыпались листовки с призывом бороться с оккупантами. Листовки расхватили все, кто ехал в вагоне, в том числе и мама.

В Василиновке она остановилась у одной из знакомых жительниц села. Обменяв одежду на еду, она раздала листовки крестьянам. Перед обратной дорогой прилегла отдохнуть, однако уехать не успела, ее арестовали. Мама долго рассказывала сельским полицаям, что она безграмотная, отдала бумагу на раскурку, не подозревая о содержании листовок. Ее отпустили, но запретили впредь появляться в Василиновке. Пришлось изменить маршрут поездок.

В одной из следующих ходок ей удалось поменять одежду на хлеб, и мама стала ждать поезда на Одессу вместе с такими же одесситами. Рядом с ними румынские солдаты охраняли большую группу цыган. Каким-то образом ромалэ поняли, что везут их в последнюю дорогу. Одна из молодых цыганок прорвалась к маме, держа в руках патефон и несколько пластинок, и попросила кусок хлеба за все. Рассказала, какой это хороший патефон и какие это хорошие пластинки. Мама дала ей хлеба, и полученное цыганское имущество привезла домой вместе с продуктами. Женщина не унижалась и ни о чем не умоляла. Она просто предлагала сделку. Цыганка хотела в последний раз покормить своих детей. Она не обманула, пластинки действительно были хороши. Я их слушал почти всю оккупацию, пока пружина патефона не лопнула. Среди записей были «Ту балвал» Ляли Черной, «Есть на Волге утес», цыганские песни и романсы, названий которых уже не помню.

Слушал я рассказ мамы о цыганах, и никак не мог понять, почему они не убегали. Казались они мне глупыми, особенно когда я наедался. Тогда мне становилось весело, но сестра охлаждала мой пыл: «Рад, дурак, что ума мало». Обидно такое было слушать. Мы с Ленкой свободно проходили рядом с румынскими солдатами возле их штаба, а цыгане не могли. Так у кого ума мало?

Несколько раз во время оккупации мама привозила из деревни по несколько штук баклажанов и помидор. В комнате на примусе она клала «синие» на жестянку, открывала окно настежь, и жарила их. Запах был необыкновенный, мама священнодействовала. Когда «синие» начинали пощелкивать, почти так, как по вечерам стреляли где-то в городе румыны, мама выключала примус. Потом она их разделявала, рубила секачкой вместе с помидорами и луком. Намазывала на тоненькие ломтики хлеба или на кусочки мамалыги очень тонким слоем. Оставшуюся икру складывала в стеклянную банку, присаливала сверху. Ели мы ее таким образом неделю, а то и больше. Банка стояла в мисочке с водой, чтобы не портилась. Каждый день после отбора нескольких ложечек к обеду, мама подсаливала то, что оставалось.

Икра всем нам так нравилась, что примерно этим же способом я ее готовил позже сам, но ели мы ее совсем по-другому... Конечно, после голодовки 1947 года...

Приходилось мне встречаться с людьми, пережившими румынскую оккупацию в деревнях одесской области. Они не знали голода до освобождения их сел от захватчиков. В дальнейшем им пришлось затянуть пояса так же, как и одесситам. За зерно, подобранное на поле, судили по закону «о трех колосках», а тех, кто видел, как голодный колхозник ел его, и не побежал к участковому, судили по статье «знал – не сказал».

По деревням разводили, как поросят, Павликов Морозовых под различными фамилиями, а после ареста их родителей, судьба «павликов» никого не интересовала...

Наши проблемы...

Те продукты, что привозила мама из сельской местности нам даже при большой экономии, хватало на считанные дни. Семья состояла из четырех человек. Заработки сестры на

розничной торговле сигаретами не оказывали на рацион существенного влияния. Отец попробовал трудоустроиться в каких-то механических мастерских, расположенных тогда в районе железнодорожного переезда возле Второго Христианского кладбища. Иногда он брал меня с собой, а чтобы я не мешал ему во время работы, сажал меня в трактор, который там стоял, и я часами мог трогать рычаги и педали.

Запомнилось мне, как мы проходили мимо какого-то двора в теплый солнечный день. У ворот стоял детский педальный автомобиль. Такого я никогда не видел и бросился к нему. Папа остановил меня и долго объяснял, что это – чужая игрушка, и трогать ее нельзя. Мне трудно было в этом разобраться потому, что у меня никаких игрушек вообще никогда не было. До этого случая я безо всяких колебаний мог сесть в легковую машину или полторку, которых в городе было много. Настоящие автомобили, сгоревшие, подорванные при отступлении советскими войсками, стояли возле тротуаров повсеместно, и их никто не убирал. Они никому не мешали – румыны ездили на каруцах, которых у них было мало, или ходили строем. В телеги запрягались какие-то захудалые лошади, наверное, отобранные у наших колхозов.

В один из пасмурных дней отец не пришел домой с работы. Мама забеспокоилась – после наступления комендантского часа не находила себе места в комнате до утра. Оканчивался комендантский час с рассветом, значительно раньше, чем начиналась работа предприятий и магазинов.

Мама одела меня, и мы пошли по совершенно пустой Ришельевской к вокзалу. Мама явно боялась и крепко прижимала мою руку. Тревога передалась мне, и я стал оглядываться, крутить головой, не понимая, чего именно нужно опасаться.

Транспорт не ходил, даже румынские каруцы не грохотали по булыжнику. Вдалеке пожилой биндюжник толкал свою тачку по направлению к вокзалу. Появились два румынских солдата с винтовками, возможно ночной патруль. Мама еще крепче сжала мою руку, и мы перешли на другую сторону. Возле вокзала валялись груды камней, у них собрались несколько человек, чего-то ожидавших. Железнодорожные пути были пустыми, и мама повела меня вдоль рельсов в сторону кладбища.

В районе канатного завода мама свернула к грязным, закопченным окнам здания, расположенного ниже железнодорожного полотна и постучала в одно из них. При этом она так озиралась по сторонам, что мне стало еще страшнее. К окну подошел папа и стал объяснять, как он увлекся разборкой какого-то механизма, и не заметил, что его запер хозяин мастерских после окончания рабочего дня. Отец сказал, чтобы мы уходили: если румыны обнаружат человека до открытия мастерских, то могут подумать, что он партизан. Домой папа с нами не пошел, вскоре должен был начаться рабочий день. Мы пошли назад к вокзалу. Навстречу шли румынские солдаты, но мама уже не озиралась, и ничего не боялась.

Вскоре папа лишился и этой работы потому, что в технике он не разбирался и грамотно слесарить не мог. Тогда он приобрел инструмент для ремонта обуви, купил деревянные гвозди на Староконном базаре (они были похожи на укороченные заостренные спички), и стал работать дома. При этом он использовал шило, рихтовочный молоток, и железную подставку, на которую надевал туфель или сапог. Кроме этого в работу шел резиновый клей – запах его всегда был смешан с махорочным дымом, которым в нашей комнате было пропитано все. Отказаться от курения папа не мог.

Помню, как он молча забивал деревянные гвозди в подошвы чьих-то ботинок, а мы с Ленкой стояли рядом. Он с нами не шутил, о чем-то спокойно думал.

В нашей комнате кроме старого шкафа, железной кровати с никелированными набалдашниками, старого облезлого зеркала, на подставке которого стояло семь мраморных слоников, большого стола и трех табуреток были еще светящиеся самолетные часы и большой круглый репродуктор. На это имущество даже румыны не позарились.

Солдаты не были к нам ни злыми, ни добрыми. Они просто выискивали, что бы им еще отправить в Румынию. У них я научился считать до пяти, возможно и больше, и знал, что дежурные по кухне нас с Пелагеей хорошо кормили, когда она была жива, и каждый день тогда это был другой румын. По вечерам через окно были слышны отдаленные выстрелы – дома никто не выяснял, кто в кого стрелял.

Иногда недалеко от нашего дома, на ул. Жуковского угол Екатерининской можно было видеть бабушку, продающую жареные семечки из маленькой торбочки. Дети приносили ей мелкие советские деньги. Она, наверное, уже мало что понимала и насыпала за эти монетки немного семечек. Дети считали, что они «надули» бабулю, хотя и сами не видели других денег.

Одиноким старушки доживали свой век в коммунальных квартирах в нищете, какую трудно себе представить. Они не знали, откуда ожидать помощи, и не имели ничего на продажу. Почти никто из них не дождался освобождения города и прихода с фронта детей и внуков. Нищета одесситов во время оккупации и после нее никого не удивляла.

«Марфуша все хлопочет...»

Пришедшие в Одессу румынские власти, разрешили открытие ресторанов, магазинов, всевозможных пошивочных мастерских и других коммерческих заведений. Появились частные предприниматели, пытавшиеся начать свое дело. Их было немного. Небольшие продуктовые магазины открылись на центральных улицах города, но у населения денег и ценностей, которые можно было реализовать, было мало.

Начали работу закупочные центры по приему металлолома, где за румынские леи принимали медь, алюминий и другие металлы. Расторопные молодые ребята стали выискивать на взорванных предприятиях и в порту провода, медные электрические шины и прочий лом. Все это румынские коммерсанты отправляли на родину, видимо, с немалой выгодой.

Иногда и сейчас можно услышать разговоры о том, что при румынской оккупации Одессы жилось неплохо или даже хорошо. Это кому как. Так можно сказать о любой власти. Кому-то всегда бывает хорошо.

Моя сестра рассказывала маме о том, что при покупке сигарет в магазинчике увидела на стенке рядом портреты монарха Румынии Михая и Гитлера. По каким-то надобностям зашла старушка, посмотрела и сказала, показывая на портреты: «Це – дытына, як дитина». Показала на Гитлера – «А цэй – звир». Продавец поспешил ее выводить на улицу.

Сестра начинала свой «бизнес» с розничной продажи сигарет с лотка, подвешенного на шее. Нашей семье хвастать благополучием при оккупации не получалось.

Население города, оккупированного румынами, было привычно к страху, внушенному бандитами, а ранее – чекистами. Румынам запугивать людей не было необходимости. Когда стало известно, что оккупанты собираются убивать только коммунистов и евреев, никому не полегчало. Какой одессит может доказать, что в его жилах не течет хоть немножечко еврейской крови? Советский паспорт не признавался за документ. Румын смотрел в лицо, а у стариков оно всегда было очень выразительным...

Нас с Ленкой заподозрить в еврейском происхождении было сложно. Оба были худыми, как русские сказочные Кощеи, к тому же я был блондином, а из Ленки перло его молдавское происхождение и живость ума – ему бы еще бубен в руки...

Ленчик любил петь во все горло, голос у него был хорошо поставлен. Тогда я не знал, с чем его можно сравнить, и только после войны, услышав сирены скорой помощи и пожарной машины, я нашел достойный аналог. Румынам же его пение нравилось, иногда они даже просили его, и он исполнял им какую-нибудь «прима вару». Потом мы получали по кусочку мамалыги или сухаря.

Во дворе нас знали лучше, чем местных котов, а когда тех не стало, мы стали единственными, кого узнавали в лицо... Соседи долго не хотели показываться румынам на глаза. А мы шныряли во все дырки, в которые до того не залазили.

Ягоды железняка созревали осенью, и деревья были усеяны ими до зимних холодов. Днями малолетние пацаны сидели на ветках и жадно витаминизировались. Окна жильцов дома, выходявшие на двор костела, были открыты все теплое время года.

Румынские солдаты облюбовали два окна, из которых выглядывали две симпатичные шатенки. Они запрыгивали туда как в свою казарму. Мы к этому привыкли, нам было не до них. Бывало любопытно, почему румыны, выскакивая оттуда, застегивают ширинки, как будто им сложно было помочиться до этого...

А осенние коричневые ягоды железняка были сладкими.

Из разговоров взрослых можно было понять, что румыны считают женщинами легкого поведения всех незамужних. Возможно, они имели в виду тех, кого до войны советская власть не успела «перевоспитать», но и среди них было немало «патриотов», заражавших оккупантов венерическими болезнями, выводя живую силу врага из строя не хуже партизан... Так я думаю.

Из довоенной жизни в памяти почти ничего не осталось. Радиоточка пела: «В красной рубашоночке, хорошенький такой...», «Полюшко – поле», «Эх, тачанка – ростовчанка...» Я бегал по нашей комнатке, коридору, освещенному солнечным светом, проникавшим через «фонарь» в крыше.

С началом оккупации в мое восприятие жизни города не изменилось, она стала сразу привычной со всеми ее сложностями. Предыдущий быт с суетой, беготней и болтовней соседей осталась в прошлом. Родители, как могли, нас опекали, но они и сами не знали, что будет завтра...

По привычке соседки с нами грустно шутили, а мы реагировали на любые шутки веселым смехом, чем веселили шутниц. Собиравшиеся в нашем дворе румыны были веселыми, играли в какие-то детские игры, смеялись неудержимо после обеда... Не все они были убийцами-любителями, каких очень ценят на войне и какие часто сходят с ума после нее. Иногда румыны подзывали нас с Ленкой, вынимали из кармана замусоленный сухарь и делили его пополам, чтобы никого не обидеть.

Отец часто брал меня с собой, когда ходил на Пушкинскую читать выставленные в специальные витрины газеты, выпускаемые румынскими властями. Из этой информации он умудрялся добывать для себя что-то интересное, а иногда говорил маме о том, что у немцев дела под Сталинградом складываются не в их пользу.

Потом обычно мы шли по Пушкинской к Театральному переулку, к дому № 12. В этом доме был ресторан «Норд», в нем выступал Петр Лещенко. Туда ходили предприниматели, быстро развернувшиеся на всевозможных сделках, а иногда и бандитизме, но далеко не все одесситы были удачливыми дельцами или налетчиками.

В этом же ресторане иногда собирались и наши подпольщики, и по рассказам жителей города, Петр Лещенко знал об этом, но по его вине никто из них не пострадал. Такого обвинения даже наша послевоенная пропаганда против него не выдвигала.

Расправились с певцом уже после войны в Румынии. О его судьбе рассказывала в одной из телепередач Алла Баянова и его жена Вера. Наши следственные и карательные органы объявляли шпионами своих бывших руководителей, таких как Берия, маршалов и генералов, но не решились обвинить в шпионаже и сотрудничестве с гестапо Петра Лещенко, открыто выступавшего в собственном театре-варьете значительный период румынской оккупации Одессы.

Петр Лещенко давал в оккупированной Одессе вечерние концерты в Русском театре. Ценители культуры часто проводили лекции и о менее значительных артистах, попавших в немилость к «великому вождю». В нашем городе почему-то о Петре Лещенко долго старались стыдливо помалкивать. Кто шепнул идеально слышавшему Сталину о необходимости убрать

этого «врага народа», никогда не занимавшегося политикой, и тем более его жену? Возможно, когда-нибудь одесситы узнают правду, тщательно оберегаемую секретными архивами, о многоходовой игре вокруг Петра Лещенко. Кому было страшно неприятно слушать, как «Марфуша все хохочет»?

В дневное время Петр Лещенко пел в ресторане-варьете. Молодое поколение о том уже и не вспомнит...

Ресторан находился внутри двора в отдельном доме, а по его периметру на камнях и самодельных скамеечках сидели старушки, продававшие махорку и семечки. Папа усаживал меня на каменный забор справа от входа в ресторан, а сам ходил, выбирал себе махорку. Иногда мы приходили в то время, когда Петр Лещенко исполнял свои песни в сопровождении оркестра, и я слушал «Очи черные», «Чубчик», «Я тоскую по родине». Мне очень хотелось заглянуть внутрь, но папа запрещал мне слазить с забора. Потом он снимал меня, и мы шли домой мимо Оперного театра по Ришельевской.

Улицы были пустыми, прохожих можно было сосчитать по пальцам одной руки. Если по пути попадались убитые или повешенные, папа старался отвлечь меня какими-нибудь разговорами или рассказывал сказки, а в остальное время о чем-то думал.

В городе на табличках у повешенных что-то было написано, но любителей читать это не находилось. Как-то сестра пришла домой и сказала родителям:

- На Ришельевской сегодня убили партизана.
- Откуда ты знаешь, что это – партизан? – спросила мама.
- Так было написано на табличке.
- Написать можно что угодно, – сказала мама.
- «А зачем тогда читать?» – подумал я.

Таблички с надписью «партизан» румыны цепляли на всех пойманных без специальных документов и убитых во время комендантского часа. Были среди них и партизаны, и обычные пацаны, искавшие еды и приключений на свою тощую задницу. Последних было значительное большинство...

Шныряющих по городу пацанов моего возраста и старше бегало немало, а девочек видно не было. Пожилые женщины, побывавшие в оккупации молодыми, потом ничего не могли рассказать о том периоде своей жизни в Одессе. Ничего удивительного в этом нет. Их родители правильно делали, что не выпускали девочек дальше порога своих комнат...

Позже я воспринимал то время как счастливое. У меня была полная родная семья, был жив мой отец, которого потом всю жизнь не хватало...

Дома папа смастерил самокат на трех подшипниках, и я катался на нем по нашему кварталу – дальше мне ездить не разрешалось.

Как-то мама приобрела немного молока, и папа варил его на примусе. Я стоял рядом и смотрел как это делается. Отец рассказал байку:

– Поставил цыган варить молоко, а когда оно сварилось и начало выкипать, он стал приговаривать: «дай боже молока побольше, побольше» – оно и убежало.

В нашей семье денег никогда не было. Того немногого, что зарабатывал папа, хватало ему на махорку и какие-то мелочи. Когда мы проходили по Ришельевской мимо магазинов, отец не обращал на них внимания, не хотел, наверное, смешить продавцов.

Мы с Ленкой вообще не знали, что такое деньги. Мама могла их тратить только на железнодорожные поездки. Что такое парикмахерская, я узнал только после войны, когда мама готовила меня в школу. До того она срезала мне челку ножницами как умела. Внешний вид нас беспокоил мало.

Скажи «кукуруза»!

Среди взрослых пацанов в то время ходил анекдот:

Румын остановил «подозрительного» одессита и спрашивает у него документы. Документов нет.

Румын – Скажи: «кукуруза»

Одессит молчит.

Румын щелкает затвором: Скажи: «кукуруза»

Одессит: Пшеника, пшеника, лучше сто раз пшеника, чем один раз кукуруза!

Пацаны смеялись, а я не понимал, почему это смешно.

Почему убивают людей, я не знал, и таких вопросов никому не задавал. Это происходило в городе постоянно и казалось естественным делом.

Мы с Ленкой и Толиком Титом бегали по городу, нас никто не трогал, чувства боязни у нас не было – кому мы были нужны, голодранцы, кроме своих родителей?

Значительно позже, в шестидесятые, я работал с инженером связи Юрой Дистерговым, который был старше меня лет на восемь и хорошо помнил время оккупации. Как-то мы оказались в садике возле его дома, недалеко от Матросского спуска и остановки трамвая № 28. Юра рассказал мне, что в этом садике размещалось еврейское гетто, охраняемое румынскими солдатами. В городе работали радиоточки, и по ним евреям предлагалось явиться добровольно в этот садик. Они приходили, и было их много. Никто их продовольствием не снабжал. Охранники подкармливали узников в обмен на золотые вещи. Затем евреев куда-то увозили. Были там старики, дети, женщины. Затем набиралась следующая партия евреев, и все повторялась снова и снова.

Соседи по коммуне в нашем присутствии иногда говорили о продажности румынских солдат. За небольшие средства выкупались знакомые евреи из гетто, но это не означало, что через несколько кварталов их снова не арестуют.

Рассказывали случай, когда один молодой человек выменял у румына знакомую девушку на никелированный велосипед. После войны она стала его женой, и они прожили счастливую жизнь.

После освобождения города Юра и его друзья играли в этом садике в футбол и часто находили вдоль забора или возле деревьев золотые вещи, видимо принадлежавшие узникам гетто.

Тем, кто добровольно не являлся на сборный пункт, предстояла ничем не лучшая смерть на Александровском проспекте или еще где-нибудь. После наступления комендантского часа все дворы и парадные двери закрывались дворниками на замки. Право хождения по городу имели только румыны в форме или те, кто имел спецпропуска.

Ольга Каземировна

Мне исполнилось пять лет, а моему другу из дома 26 по Жуковского, Толику Титу восемь, когда мы стали совершать дальние прогулки по городу и в порт. Попасть в него не составляло труда – ограда была почти повсеместно разрушена, на искореженных рельсах стояли сгоревшие паровозы, вагоны, и вообще мало было чего-либо целого или хоть с виду исправного. Все было превращено в мусор.

В топке одного из паровозов мы нашли большую буханку белого хлеба, но он весь зацвел. Когда мы его поломали, то внутри он был пушисто-зеленым. Почему это запомнилось? Есть очень хотелось.

Почти все причалы разворотило бомбами, но возле уцелевших стояли военные корабли и транспорты – их было немало. Корабли охраняли румынские солдаты.

Возле военной гавани на берегу стоял торпедный катер и несколько докеров проводили с ним какие-то работы. Появились румынские охранники вместе с офицером. Они принесли большие сплюснутые трубы из красной меди и стали выяснять у рабочих, кто помогал пацанам украсть внутренние покрытия или втулки пусковых установок торпедных аппаратов. Украв-

ших медные вставки ребят поймать не удалось, а сами детали были так погнуты, что годились только для сдачи в румынские приемные пункты утилизации цветных металлов.

Кричали на рабочих долго, а мы стояли рядом с румынским офицером и гордились тем, что можем находиться вблизи такого красавца, пока на нас не шикнул кто-то из охранников. Пришлось продолжить прогулку по развалинам порта, с которых нас никто не прогонял.

Мы часами ходили в порту, к вечеру уставшие брели по Канаве (Польскому спуску) мимо фонтана воды, бывшего из-под земли возле лестницы, выходящей к Дерибасовской... Он там течет и сейчас.

При немцах румынские пункты приема цветных металлов за леи прекратили работу, и пацаны стали выискивать полезные для них грузы в порту. «Партизаны», видимо, использовали подземные ходы канализации. Они продолжали партизанить и после освобождения города.

Спуск был совершенно безлюдным. Создавалось впечатление, что там никто не живет и по нему кроме нас никто никогда не ходит. При повороте на Полицейскую на некоторых деревьях мы видели повешенных почерневших людей, но не обращали на них особого внимания – это было почти обычным явлением.

Мой возраст не позволял мне общаться с теми, кто приспособился к румынской оккупации, и кому было неплохо. Те, кто жил «весело, вольготно», старался не приучать своих детей к общению с людьми «не их круга».

Бывшие уголовники, взяв беспроцентные румынские кредиты, открыли свои заведения и стали элитой города. Так бывает всегда при перемене власти, но быстро отреагировать успел ничтожный процент населения, оставшегося в оккупации.

В наших домах не было детей зажиточных родителей. Кроме семьи Ольги Каземировны мне не пришлось видеть богатых людей до конца оккупации. Побывал я в ее «хоромах» только один раз, да и вообще, не следовало меня тогда впускать в «приличные дома». Вечно голодного...

Во время румынской оккупации по центральным улицам не проезжали танки и автомобили. Было впечатление, что у румын, кроме винтовок и офицерских лошадей, самой грозной техникой были каруцы с запряженными в них клячами.

В нашу коммунальную квартиру вселилась богатая семья – по тем временам. Заняли они две большие комнаты, в которых жили Беренштейны до эвакуации, завезли мебель, наняли тетю Олю Андрущенко в уборщицы. Она же взялась им варить еду.

Ольга Каземировна, как оказалось, была женой сотрудника румынской сигуранцы и, видимо, не из нижних чинов. Она была красивой, холеной и всегда шикарно одетой дамой. Всегда носила комнатные тапочки, что было в нашей коммуне невиданным делом, одевала халаты (их было несколько) при походах на кухню или в уборную.

Как звали ее мужа никто не знал и редко кто его видел – он почти всегда был на службе. Семья работника румынской контрразведки получала продовольствие в достаточном количестве. О холодильниках тогда никто и не слыхал. Семейным завхозом и поваром пристроилась «украинка» с еврейской головой – тетя Оля Андрущенко. Она любила и умела готовить, при этом имела «свой бульон».

Ольга Каземировна подключалась только к приготовлению мамалыги, которую одесситы не умели варить – они знали только пшенку из молодой кукурузы. Иногда румынские солдаты поставляли гусей – их Ольга Каземировна закрывала в ванной комнате.

Соседи, насмотревшись на человеческую кровь, не хотели их резать, и Ольга Каземировна договорилась с моей мамой, согласившейся потрошить птицу за отрезанные головы и лапки.

Запомнился процесс ощипывания гуся. Потом несколько дней у нас был на обед суп, и я узнал, какая вкусная гусиная лапка. Это была действительно симфония. Мяса там не было, но и жилы со шкурой поражали мое воображение.

В дальнейшем, при подходе наших войск к Одессе, Ольга Каземировна вместе с мужем быстро собрались и разрешили соседям брать все, что кому захочется. Все их имущество было разбросано по обеим комнатам. Я выбрал себе настоящую спортивную рапиру и красивые, отсвечивающие никелем радиолампы от какого-то довоенного приемника.

Ольга Каземировна вместе со своим мужем, похоже, были из обрусевших молдаван или румын, а может и наоборот... Никто из наших соседей не выказывал зависти к их шикарной жизни и не проявлял любопытства, когда им привозили на каруцах мебель, вещи, продукты...

Соседи в нашей парадной были нищими или полунищими, и только по воле случая проживали под одной крышей с «хозяевами жизни». Ольга Каземировна любила, чтобы ее величали по имени-отчеству и в эти моменты млела. Из своей шикарной квартиры с большим полукруглым балконом она никуда не выходила, а самый дальний ее променад был к коммунальному туалету. В такие минуты тетя Дозя загоняла Леньку в комнату, чтобы не путался под ногами у солидной женщины – от греха подальше. В комнате назидательно говорила: «Раздайся море – гавно плышет!», и при этом смеялась.

Ленька запомнил, и потом, если оказывался недалеко от туалета, когда туда направлялась Ольга Каземировна, забегал вперед, и возле темных дверей кричал, закинув вверх голову, заученную фразу.

Ленька не думал о том, что женщине некогда рассматривать его ехидные, и одновременно бесхитростные глазенки. Ей, спешащей по делу с выпученными из орбит глазами, очень не хотелось уговаривать четырехлетнего ребенка пропустить ее в место назначения. И бить его не хотелось, и смеяться в такой момент опасно... После процедуры, поправив халат, она осторожно выглядывала из приоткрытой двери. Кому жаловаться на некультурного сосунка? И что может сказать солидная женщина голодной маме голодного Леньки?

Богатая одежда Ольги Каземировны не производила на голодающих соседей особого впечатления. Она это понимала, и старалась не выпендриваться, а тем более не скандалить.

Видимо, затворническая жизнь ей надоела, и однажды, после истерического домашнего концерта, затеянного ею, муж таки отвез Ольгу Каземировну в Оперный. Она много дней рассказывала тете Оле, так, чтобы слышали все жильцы дома, как хорошо ей было в театре.

После того, как румынские солдаты уничтожили винный склад, выкатив бочки по булыжной мостовой в сторону Польского спуска, казалось бы, пьянка в окрестностях нашего дома кончилась. Однажды среди дня вдруг раздался громкий стук в двери нашей коммунальной квартиры. Такого никогда не бывало, потому что у нас проживал «большой человек». Не было здесь такого даже тогда, когда вино лилось рекой.

Все соседи, находившиеся дома, выскочили в коридор. Когда я выбегал из нашей комнаты, то увидел в темном коридоре испуганные глаза тети Дози, тети Оли и Леньки – они, как мне показалось, светились.

Возле входных дверей со стороны лестницы кто-то грозно кричал по-румынски. Ольга Каземировна открыла двери своих комнат, продолжая припудривать нос. Она была неотразима в ярком свете, бившем в коридор как прожектор со стороны ее громадного балкона.

Заламывая руки, Ольга Каземировна кинулась открывать входные двери. На площадке мраморной лестницы в солнечных лучах, проникавших через громадные окна, возник ее муж, он стоял на полусогнутых ногах и качался. Таким я видел работника сигуранцы впервые. Так супруг перегружался крайне редко, только тогда, когда следствие требовало его присутствия, и в тюрьме допрашивали важных партизан или евреев, которых он дома называл жидокомиссарами.

Сейчас же он пребывал не в лучшем расположении духа и смачно облизывал разбитую о входную дверь руку. Работник секретной службы спяну не сообразил, что дубовая дверь явно тверже, чем «жидокомиссарская морда», и удивленно рассматривал бронзовую ручку. Жена бросилась к пострадавшему, успев крикнуть: «Оля, помоги удержать его...» Тетя Оля

поспешила и предотвратила падение громадного представителя румынской Фемиды. Кое-как они внесли контрразведчика в коридор нашей квартиры. А могло быть и наоборот – он бы выводил тетю Олю.

Так тетя Оля, еврейка, невольно стала пособником сигуранцы. Всю оккупацию она прожила в страхе, вынужденная быть предельно услужливой. За ней могли прийти в любой момент, быстрее, чем за каким-нибудь партизаном, хотя она и добилась очень снисходительного отношения к себе со стороны Ольги Каземировны.

Дядя Петя, ее муж, до войны работал пожарником на Полицейской угол Преображенской. Когда случился пожар в погребе с мацой, он его удачно потушил, а заодно познакомился с дочкой хозяина пекарни Ольгой, хотя хозяев уже не было... Несколько раз он потанцевал в еврейских компаниях, и, как только научился отплясывать «семь – сорок», оказалось, что он «надул Оле большой живот».

Ему не помогли даже большие извинения. С виду он был щупленький, но, оказалось, что дело свое он знал... Тогда дядя Петя был «щирым украинцем», и поставил условия женитьбы: Ольга возьмет его фамилию и национальность. На том и порешили.

За два года до войны у них родился сын, Толя. Родственники жены настаивали на обрезании, но папа Петя был неумолим: «Не дам портить вещь!»

В Одессе секретов не бывает, а семья сидела во время оккупации «на шее» тети Оли, – ей никак нельзя было отправляться в гетто. Поэтому она не выходила из квартиры на улицу, и даже во двор. Жарила, варила, стирала, убирала, до самого освобождения города.

Документы у тети Оли были в порядке, но били тогда не по паспорту. Ее миновала судьба многих соплеменников и родственников.

Я не помню, чтобы после войны к ним приходили гости. Почему-то она никогда не ела мацу, а пекла куличи на Пасху. Наверное, считала, что ее семью спас христианский Бог.

Их сын Толик дожил в Одессе до пенсионного возраста, и возможно не знает, что имеет право на хорошую пенсию на Земле Обетованной.

После того, как румынско-молдавская семья отселилась из нашего дома, я видел их несколько раз возле костела, со стороны Екатерининской. Похоже было, что они проживали на втором этаже дома, примыкающего к зданию, в котором после войны размещалась почта. Потом они куда-то исчезли, хотя и в Румынии они могли оказаться лишними. Румыны и позже не прощали врагов демократии – расстреливали вместе с женами...

Часто приходили со стороны порта ребята, которым было несколько более десяти лет. Шли они в сторону Привоза по Екатерининской и о чем-то оживленно разговаривали между собой. Улицы были пустынные, поэтому я хорошо запомнил песню, которую они иногда весело исполняли:

На пароходе я была,
Большая качка там была,
И вдруг сорвался ураган...

Видимо, пацаны научились каким-то способом зарабатывать небольшие деньги, с которыми чувствовали себя уверенно. Редкие румынские солдаты, проходившие по улицам, на ребят не обращали внимания. Эту песню после освобождения города почему-то перестали петь одесситы. В ней были слова о каком-то краснощеком капитане...

Шикель-макарона

Я бегал со своей рапирой по улицам. Однажды ко мне подошли два пацана, лет по 11-12, и предложили продать ее за две марки – приличную по тогдашним временам сумму. Тут ко мне подрулил третий парень и сказал, что я продешевил и вещь нужно вернуть. Я догнал ребят, они вернули рапиру и взяли деньги. Каким образом моя рапира перешла в собственность «добродетеля», я уже и не помню.

Под нашей квартирой на втором этаже жила молодая худошавая женщина. Я ее иногда видел, проходя по лестнице домой. К ней в гости заходили румынские солдаты. Все соседи звали ее «Шикель-макарона», видимо за рост и худобу.

Шикель-макарона, веселая смешливая одесситка, встречала румынских солдат только по одежке, а их ум ее вовсе не интересовал. Хозяйка открывала входные двери квартиры после условного стука, просматривала содержимое пакета, принесенного солдатом, и состроив глазки, пела: «гуляю я, эх, гуляю я...»

Однажды я поднимался по лестнице домой и увидел, что двери коммунальной квартиры второго этажа открыты настежь, а в коридоре толпятся люди. Я вошел внутрь и увидел, как несколько мужчин влезли на большой круглый стол и снимают повешенную «Шикель-макарону» с крюка, на котором раньше висела люстра. Соседи переговаривались тихо, но можно было понять с их слов, что ее повесил собственный муж, партизан, за разгульную жизнь.

Шикель-макарона происходила из потомственной пролетарской семьи, проживавшей в районе Привоза. Этот район при царском режиме, кроме всего прочего, славился дешевыми публичными домами и доступными девицами... В малолетнем возрасте звали ее Машей, позже – Муркой, потом – Шикель-макароной.

Из всех доступных девушек Привоза, Мурка была самой «легкой на передок», и считала, что это не ее собачье дело разбираться с кем гулять.

Молодой сотрудник НКВД, комсомолец Николай, решил взять над нею шефство и перевоспитать. Потом женился на Маше, стал образцовым мужем: приносил всю зарплату домой, не пил...

Шикель-макарона с иронической усмешкой смотрела на те копейки, что приносил супруг в «день чекиста», 21-го числа каждого месяца. Маша с первого дня их совместной жизни наставляла ему рога с его же сослуживцами. Николай терпел, нельзя же было ему, чекисту, разрушать семью, следовало быть «морально устойчивым».

Кто-то сказал ему при разговоре, что, дескать, «сучка не схочет – кобель не вскочит», а Машка хотела всегда.

Потом пришла война, оккупация, и муж был вынужден исчезнуть из поля зрения новых властей, но в Одессе остался. Шикель-макарона возобновила прежние деловые связи с привозными подружками – Косточкой и Булочкой. Вести себя стала с достоинством, как замужняя дама. Важно курила сигареты, изящно держа их двумя пальцами и обмусоливая щедро разрисованными ярко-красной помадой губами мундштук.

Румынские офицеры, а когда их не было, то и солдаты, услужливо протягивали ей зажженные спички сразу с нескольких сторон. Маша тянулась прикуривать к той спичке, к хозяину которой в этот момент благоволила.

Соседи говорили, что муж ее находится в подполье. Я понимал это буквально – сидит он где-то под полом, и слушает... Говорили и о том, что до него доходят слухи о ее загулах, и будто Николай присылал Шикель-макароне угрожающие записки, чтоб не позорила честь семьи чекистов, не напрашивалась на «кару органов».

Маша, с довоенных времен привыкшая считать своего мужа тряпкой, не обращая внимания на его предостережения, гуляла еще азартнее. В мирное время в случае развода с женой Николаю предстояло партийное взыскание за слабую воспитательную работу в своей семье, служебное расследование, понижение в должности и звании, и еще много неприятностей, а во время оккупации он даже и не знал, как подступиться к своей жене.

Каждый день приходила к Шикель-макароне веселая компания – подружки, Косточка и Булочка с румынскими военными. Когда воспитывать жену? Подружки громко стучали в парадную дверь, Шикель выходила на стук в одном халате и с объятиями, раскрывала перед подружками тело. Те радостно визжали, а муж, чекистским взглядом наблюдал за происходя-

щим с третьего или четвертого этажа. Иногда Шикель-макарона не приглашала подруг к себе, и тогда они обижались:

– Что эти мамалыжники в тебе находят? – спрашивала Булочка.

– Им нравится, как макарона перед ними ломается под музыку – поддерживала подругу Косточка, – или когда гремит костями?

– У меня хоть есть, чем греметь! – смеялась Маша, а у тебя осталась одна косточка, и то неизвестно откуда торчит...

Подружки в тот раз принесли с собой грампластинки

– Мы пришли послушать музыку на твоём патефоне – пробовала уговорить подругу Косточка, просто лопавшаяся от любопытства. Кто же там в комнате изготавился? Это было интересно и мужу...

– Приходите через час, тогда и послушаем – и, подмигнув, добавила – у меня и выпить есть...

Шикель-макарона шмыгнула в темный коридор и захлопнула входную дверь

– Гулять целый час?! Ладно, пойдем, посидим на подоконнике – предложила Булочка.

– Тебе хорошо сидеть на мраморной плите с твоей толстой жопой, а как мне с косточкой? – пошутила подружка, – тоже мне, не захотела показать даже своего принца...

– Что ты спешешь, как голый? – Он все равно будет выходить через эти двери, и не я буду, если не переманю этого офицера, не будь я Булочкой!

Николай крутился неслышной юлой все это время на мраморной площадке четвертого этажа.

У подружек часов не было, и они коротали время наугад. Они таки дождались, когда Шикель-макарона вывела своего гостя, румынского офицера, на площадку мраморной лестницы. Румын оказался хлипенького телосложения, но смотрелся юрким, с хвастливым фасоном. таких одесситки называли «швыцарами». Его огромная офицерская фуражка сверху казалась седлом цирковой лошади.

Булочке стало весело, она вспомнила довоенный цирк, и засмеялась:

– Вот кого наша подружка не хотела нам показывать, этого плюгавого швыцара! – она не предполагала, что он знает русский язык.

– Кто такой плюгавый швыцар? Я – румынский офицер! – Он схватился за висевшую на портуpee кобуру. Подружки запаниковали... Шикель-макарона всем телом бросилась на своего ухажера, обвила его руками.

– Это такая одесская шутка, успокойся...

– Пусть с нашими офицерами так больше не шутят! – румын убрал руку с кобуры.

У Булочки пропало настроение отбивать «шибздика» у подружки, а румын стал важно спускаться по широкой лестнице в полной тишине. Было даже слышно, как тикают его хорошие часы...

Подружки с перепугу неслышно пошли не вниз, а вверх, и вдруг увидели свесившегося через перила мужа Шикель-макарона. Они остолбенели. Куда идти, куда бежать? Николай наблюдал за удаляющимся ухажером. Макарона крикнула: «Захотелось почесать языки? Спускайтесь, отметим ваше второе рождение, умницы мои...»

Женщины побежали к подруге, а муж еще долго висел на перилах, как половая тряпка, «сохнул», как недостиранное белье... Повисев немного, Николай неуверенной походкой пошел вниз.

Он успел привыкнуть к своей Макалоне, знал ее лучше, чем себя. Одновременно любил, ненавидел, ревновал... Как можно приходить к ней после такого конвейера? Машка и его встречала так, как будто кроме него никого не знала. Убивать он жену не хотел, но проучить бы надо... В который раз?!

На другой день Коле пришлось долго ждать там же, пока последний румынский солдат отпраздновал «собачью свадьбу». Ожидать и выслеживать – обычная работа чекиста, но сейчас предстояло провести операцию личного характера... Он тихо вошел в комнату растрепанной уставшей жены, и, не позволив ей отдохнуть, «стал Колька с Муркой долго говорить».

Задушил он супругу и зачем-то повесил ее, голую, вместо люстры.

Похоронили Шикель-макаруну незаметно. Никто ничего не организовывал. На каруце из мэрии приехала бригада, собирающая мертвецов по городу и снимающая повешенных, отвисевших длительное время на ветках деревьев. С размаха бросили Макаруну на почерневшие тела, и уехали...

Румынские солдаты и офицеры еще много дней и ночей стучали по два раза в дверь, потому, что дореволюционные звонки с надписью «прошу крутить» пролетарии сломали задолго до войны, а жители коммун назначили условный стук по количеству раз на каждого соседа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.